

КИТ И ЕВРАЖКА



—
ДМИТРИЙ ЛИХАНОВ
 Родился в Нирове. Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Автор множества произведений, переведенных на разные языки.

—
 Член Союза писателей Москвы, Союза писателей России, Союза журналистов России, IAPWE (International Association of Professional Writers & Editors).

— Я не оставлю ее у вас, — отчеканил Кит после того, как фельдшер накрыл простыней лицо покойницы.

Пальцы фельдшера поросли рыжей шерстью, сквозь которую виднелась татуировка с годом его рождения — 1969. Если он хотя бы коснулся ими ее лица, Кит, скорее всего, разрыдался бы. Или одним ударом разбил ему губы в кровь. Даже сейчас, когда Евражка была мертва, он продолжал ее ревновать. Особенно к этим бесстыжим пальцам в рыжей шерсти.

За окном пуржило уже вторую неделю. И сопки на том берегу реки Рывеем, и темные бараки, и ангары с техникой, и терриконы выработанной породы виднелись едва-едва в скисшем молоке поднебесья. Мутной сывороткой землю заволокло. Ветер вздымал ее, волок вдоль бараков и ангаров с протяжным свистом. Наметал сугробы под самые стрехи, так что ребятня в прежние времена устраивала в них снежные пещеры. Со скрежетом ржавого уличного фонаря, что яичной болтушкой растекался над больничным крыльцом. Легким дребезгом оледеневшего, сочашегося слезами стекла на окне. Утробным стоном печной трубы. Метущимся сонмом филигранных снежинок, сотворенных, видать, Вседержителем для восхищения и уничтожения горделивого, потерявшего всякий страх человека. Пятый месяц зимы в отрогах Экиатапского хребта, на шестьде-

сят девятой широте, был таким же, как и сто, как и десять лет тому назад, когда они поселились на краю земли.

Он встретил Евражку на исходе полярного лета, когда она стояла возле дороги, прижимая к груди дохлого суслика. В резиновых сапогах цвета перезрелого баклажана, в ношеном китайском пуховике с черепахами, простоволосая, рыжая, словно и сам зверек. Доверчивую зверушку, видать, придавил такой же проезжий трактор. И умчался прочь к отвалам породы. Суслик мал. Его и не всегда заметишь из кабины «кировца». А вот Евражка подобрала. И хлюпала теперь носом, оплакивая глупую гибель мелкой полярной твари. Хотя сусликов этих в тундре — не счастье.

Кит приметил рыдающее дитя с поворота. Причалил трактор. Спрыгнул на землю. И, обтирая промасленным рукавом спецовки лицо, пошел к ней на встречу.

— Я хочу его похоронить, — сказала Евражка, обратив к Киту аметистовый взгляд, — поможешь выкопать яму?

Возле мелкой лужицы у дороги, с которой взметнулась испуганная парочка куличков, он расковырял охотничьим ножом узкую ямку. И лишь только Евражка положила в нее зверушку, тот вдруг извернулся всей своей ореховой шкуркой, отчаянно пискнул и цапнул девочку за безымянный палец. Та

вскрикнула испуганно. И тут же расхохоталась, радуясь воскрешению суслика.

– Эх ты, Евразка, – улыбнулся Кит, – рано ты его хоронишь. Дай-ка посмотрю палец.

Воскресшая животина теперь стояла на задних лапах метрах в пяти на макушке болотной кочки, возмущенно вглядываясь в людей, что вознамерились предать ее, хоть и пришибленную, контуженную, да все ж несказанно живую, вечной этой мерзлоте.

Ранка от зубов суслика оказалась крохотной, но глубокой. А капелька крови – яркой, словно ягодка костяники. И такой же терпкой на вкус.

Когда Евразка через три года окончила школу, Кит увез ее на мыс Кожевникова, где отлеживались тучные стада шоколадных моржей. И беспечные полярные медведи бродили под окнами поселка Рыркайпин. Презрев угрозы возмездия вечного хранителя заповедного мыса кражистого чукчи Ытыгыгына, они пробрались сюда на рассвете и теперь по узкому каменистому перешейку, где повсюду валялись осколки пластиковых пыхпыхов*, обрывки нейлоновых китайских сетей, перья кайры, шли вдвоем, одолевая пространство запретной зоны, вооруженные только двухметровым шестом и сигнальной ракетницей в кармане аметистовой Евразкиной ветровки – в цвет ее глаз.

– Только помни, – заполошно шептал ей на ухо Кит, – мы сильнее! Мы люди, а он зверь. Если встретим, главное, не беги. Я с тобой. Медведь боится высоких шестов и петард.

Влажный туманный морок, встречный ветер укутывал их от ноздрей и глаз диких зверей. Моржи плескались где-то поблизости. Фыркали сыто, отпахав желтыми бивнями прибрежное дно в поисках ракушек. Чмокали влажно. Вспенивали задними лапами воду. На лежбище их было не меньше пяти тысяч. Дикое это стадо рычало, гудело, шевелилось где-то совсем поблизости, словно выполз на камни древний левиафан, вознамерившийся пожрать эту землю. Хуже того была только мягкая поступь белых медведей, что бродили по мысу Кожевникова в поисках придавленного ли в моржовой толчее молодняка, издохшего старца, что насытят их впрок, жиром поделаются на долгую полярную зиму.

Эту поступь, вслед за которой осыпался мелкий галечник, они услышали, лишь пробрались на остров по едва заметной тропке меж влажных, мхом поросших валунов. Медведь шел где-то совсем рядом. Одышливо дышал. Вонял отчаянно мокрой сва-

лявшейся шерстью. Переваренным моржовым салом и псиной. Клокотал утробой. Горлом хрипел. Ступал тяжело. Это был старый, матерый самец, пришедший сюда еще по льду с острова Врангеля, где остались его медвежата и покрытые самки. Многожды драный, но ни сородичами, ни самым страшным своим врагом – человеком не побежденный, на исходе своей сорокалетней жизни пришел он жировать на мыс Кожевникова, видно, в последний раз.

Укрывшись в расщелине между двумя черными валунами, да еще в жесткий свитер Кита уткнувшись от страха лицом, Евразка молила Спасителя, чтобы тот не менял ветра, а дышащий рядом хищник не учуял их даже по короткому вздоху, даже по неведомому шелесту волос по аметистовой куртке. Не шевелился и Кит. Только сердце его под шерстяным свитером грубой вязки грохотало, казалось, на километры окрест. И капелька пота стекала холодной слезой на ее губы.

Спаситель сберег. В морозе влажном и стылом уходил медведь по желтой осоке, звонкой, сыпучей щебенке все дальше и дальше. Не доходя до распадка, присел, выворачивая узкую морду по ветру, приюхиваясь к жирной, теплой дичине, и, словно в насмешку над людьми, навалил на прощание парящую, вонючую кучу. Да и скрылся из виду. А они так и остались в расщелине, предаваясь усладе нечаянной близости и единения двух перепуганных сердец.

После свадьбы с попутным вездеходом умчали на лагуну Каныгтокынманки, что прикрывала от пролива Лонга узкая песчаная коса. Здесь, на краю мелководной лагуны, они прожили в затерянном рыбацьем балке две недели, словно первобытные люди в начале времен. Пеклись на редком солнышке нагишом. Ставили сети, вытаскивая из них на вечерней зорьке упругое серебро с алым подбрюшьем арктического гольца. Вялили юколу. Солили трехлитровыми банками икру. Жарили над костром на прутиках карликовой ивы рыбы молоки.

Под утро мимо балка не спеша проходил молодой медведь-подросток, только недавно ушедший от матери. Ворошил мусорную яму с гниющей требухой и порожними банками из-под тушенки. Нюхал воздух, примечая наверняка и горький печной дым, и едкий запах одеколona, которым Кит обильно плескал на рожу после бритья, сладкие месячные Евразки. Несколько раз медведь даже прижимался к окну, выглядывая обсидиановой пуговицей глаза источник неведомых и манящих запахов, но всякий раз, заслышав, как Евразка дубасит ложкой по дну кастрюли, ошалело спешил прочь. В балке им те-

* Пыхпых – пластиковые поплавки китобойных гарпунов.

перь было совсем не страшно. Возле лежанки в углу упрятан заряженный карабин. Да и медведь слишком молод, пуглив.

Вечером слушали море. Под треск самодельной буржуйки из-под бочки авиационного топлива слушали «Голос Америки», вещавшей сквозь шестест глушилок про свободу и демократию. О том же вещал и голос Москвы, призывая людей покончить с проклятым прошлым. Старенькая, перемотанная синей изолентой «спидола» московские голоса вылавливала в эфире с трудом. Москва была дальше Америки. И если бы ее не было вовсе со всеми ее воззваниями и свободами, здесь, на песчаной косе пролива Лонга, все будет как прежде. Клинья белых гусей, тянущие к болотам. Стаи шумных морянок, несущиеся низко над волнами Ледовитого океана. Медвежьи следы на песке. Сопли водорослей, выброшенных на берег. Давнишний скелет морского зайца – лахтака, что лежит тут с позапрошлой зимы. Тугой пережат волн, широко шуршащий в пологие берега мокрой галькой, мелким песком. Мутная, волглая даль, уходящая в бесконечность, от одного лишь осознания которой становится сиротливо и зябко.

Евражка заметила кита на рассвете восьмого дня, разбуженная чудными всплесками моря. Со всем не так бьется волна о гальку. Ни в шторм, ни в штиль. Море вырывалось высоко из-под воды фонтанной струей, да так высоко, такой волглой пылью, что неусыпное летнее солнышко враз смешало ее с цветами радуги, хоть и полярной, тусклой.

Вслед за фонтаном из моря вынырнул гнутой спиной, усеянной ракушками-балабусами и вшами, сам повелитель здешних морей. Медленно переворачиваясь с бока на бок, он выпрастывал над водой то один боковой плавник, то другой; пластал со всей дури плашмя хвостом в белых пятнах; фыркал утробно в блаженстве; пускал в низкое небушко упругую соленую пелену. Даже когда Евражка вышла из балка и сторожко приблизилась к кромке моря, двенадцатиметровое чудище продолжало резвиться неподалеку.

- Чистит шкуру от паразитов, – объяснил Кит, что вышел на берег следом. Прежде он и сам бил серых китов с вельботов лоринских чукчей из карабина, но, отстрелявшись всего один сезон, ушел из этого кровавого промысла в водители на золотой прииск. – На них ведь полно морских вшей. А почесать некому. Вот и скребутся о береговую гальку.
- Могу почесать, – осветилась в улыбке Евражка, и ее рыжие волосы растрепались в порыве сырого морского ветра. – Я хорошо умею чесать брюшки

китов. Хочешь, и тебе почешу? – Она обернулась к нему лицом, зазывая обветренными губами с прозрачной шелухой, в которых затаилась нераскрывшаяся улыбка, студеными пальцами проворно пробираясь под шерстяной капитанский бушлат, надетый на голое тело.

- Хочешь, я рожу тебе китеныша? – спросила она вновь, когда они, уже сплетаясь, опустились на гальку, а чудовище возле берега вновь выпустило к небу фонтан радужной пыли.

Китеныша она родила через два года. За это время едва слышная из радиоприемников страна и вовсе перестала существовать. Кончину ее праздновали, по рассказам вернувшихся с материка старателей, залихватски. В пьяном ли угаре, в мнимом освободительном запале посшибали памятники идолов, которым сами же и поклонялись десятки лет, вознесли до небес, как положено во времена всенародных бурлений, мутную пену, златого тельца – идолов вроде как новых, но на самом-то деле давно обозначенных в мудрых книгах предвестниками отпадения от Бога и от совести. Так оно и случилось. Рухнула страна под натиском алчных революционеров одним махом. Завалилась пьяной, изнасилованной бабой мордой в грязь. Но еще дышала, выла, покуда терзали ее, рвали на части и собственные, и иноземные душегубы. Но уже не сопротивлялась. Подыхала страна без сил. А там уже и мелкий, шакалистый хищник подобрался. Дополз даже до затерянного на краю Ледовитого океана прииска, объявив прежнюю власть низвергнутой, а все ее обещания – незаконными. Технику распродал. Золото уворовал. Жилища – и те пожег. А людей, конечно, одурачив, всучив им вместо зарплат бумажки неведомых акций, которые сам же хищник этот совместно с иными хищниками, уже из местных, северных, и скупал. Побежал народ с Севера, отдавая за билет на материк квартиры, нажитое годами добро, оставляя после себя покинутые поселки, развороченную землю, ржавые колоды, пепелища да груды бочек из-под солярки. Драпали, как от чумы. Как от войны какой. Киту с Евражкой драпать было некуда. Родня их немногочисленная, одни из потомков спецпоселенцев, добывавших олово на прииске Красноармейский, другие, напротив, из числа охранников, спецпоселенцев этих охранявших, обосновались в советском Заполярье основательно, вгрызлись в вечную эту мерзлоту уже и не одним поколением, так что, вполне естественным образом, и потомки их другой земли, помимо этой, попросту не знали, жилья и знакомств на материке не имели. И даже не представляли себе жизни иной.

Покуда Евразка была еще на сносях, вразвалку несла свое бремя по пустеющему с каждым днем поселку с детским каким-то упованием, что рассеется морок, очнется страна ото сна и вернуться люди. Что не может ведь быть такого, чтобы ничего не дорогого и не жаль. Брошено все, что создавали, строили. Предано, что любили. Продано, верили во что. Но брела из «шанхая», где стояла их, нынче только побеленная, с шиферной крышей избушка, мимо гулких ангаров, развеселого прежде клуба, поселковой школы, где всего-то прошлой весной сотнями переливов гомонила местная детвора, а ныне – только снега скрип под торбазами, жестяной скрежет на бесхозной крыше, выбитые окна бараков с детскими тетрадами на полу, в которых ровным, старательным почерком выводилось сочинение «Великая моя Родина». Собственное будущее Евразку хоть и заботило, да уж не так, конечно, как будущее носимого ею китеныша. Что станется с ним, покуда и не рожденным, когда вступит в немилостивую эту жизнь, кто станет лечить его, коли захворает, кормить, если и магазин, и столовая, как предрекают, скоро закроются. Где он будет учиться, когда подрастет? Что выйдет из него в конце концов. Прежде таких вопросов даже и не возникло. Страна худо-бедно радела о своих людях. Особенно людях простой, рабочей выправки и происхождения. Ныне – каждый по себе. И всяк за себя, словно дикий зверь. Вот и задумаешься о грядущем дне, как учили в программе «Время» записные пропагандисты, вещая об ужасах иноземного капитализма.

Кит на все ее тревоги лишь улыбался безмятежно и широко, добавляя оптимизма мерцанием золотой фикса. Уверял, что даже если вожди на материке и вовсе свихнутся, коли останутся по задумке новых управителей в Заполярье, одни лишь дикие звери и лауроветланы, то и тогда ни Евразка, ни китеныш ни в чем нуждаться не будут. Хоть и сурова, да щедра тутощная земля пропитанием, целебными травками, что веками согревали, исцеляли да кормили местный народ. Замечала она к тому же, что запасается теперь Кит основательно патронами для своего карабина, сливает из пустых бочек остатки бензина да полнит им собственный, дармовой запас для верного своего друга – высокоширотного вездехода «ГАЗ-71», что отписало ему начальство за долги по зарплате вместо акций прииска «Полярный». Завел еще и друга четвероногого – брошенную хозяевами при отъезде лайку Джульку – собаку, по всем охотничьим понятиям, обученную, на зверя притравленную, изучившую досконально окрестную тайгу на пятьдесят километров окрест. Так и жили

теперь посреди «шанхая» вчетвером: Евразка с китенышем нерожденным, муж ее Кит и собака Джулька.

Воды отошли в полпервого ночи. Но схваток не было. Той ночью мороз навалился на поселок совсем кусачий, градусов не меньше пятидесяти. Так что пришлось Киту поначалу картер вездехода паяльной лампой разогревать. Евразка уже и кричит. Джулька скулит, о ноги трется. Чует немому хозяйки. Утешает ту, как умеет. Через четверть часа горячая сталь растопила застывшее масло. Двигатель взревел довольно и сыто, изготовившись мчать вездеход по снежной целине напрямик к поселковой больнице. Добрались скоро.

Заспанный и весь какой-то измятый, дежурный фельдшер Соломатин, который неделю назад отправил контейнер на материк и со дня на день ожидал билетов до Киева, хоть и слышал, что где-то в «шанхае» девушка на сносях, но в дежурство свое последнее роды принимать не жаждал. Пока такая же измятая, однако ж, сердечная по природе своей и женской солидарности сестричка из чукчей Валентина Эттувье спешно готовила операционную, фельдшер сперва заполнял бланки, затем недовольно щупал пальцами с рыжей шерстью Евразкин живот, измерял пульс черной манжеткой, градусником – температуру вздрагивающего тела. Схватки начались у Евразки еще в вездеходе. В больничке прибавили. Ребенок изготовился к выходу и теперь давил головой вперед, раздвигая кости материнского таза, раздирая материнскую плоть. Евразка уже выла в голос, когда Соломатин завел ее в одном исподнем в операционную. И запер за собой дверь, пригрозив мужу вытолкать того на мороз, если станет выкать и мешаться.

Несколько времени Кит сидел на драном дерматиновом стуле в гулком коридоре с беспрестанно жужжащей дросселем и вздрагивающей вспышками газа люминесцентной лампой. Прямо перед ним иссохшие ошметки масляной краски на стене мерещились то профилем гадкой старухи, то летящей кайрой, то мордой нерпы. За дверью операционной уже где-то совсем далеко сердито кричал фельдшер и выла Евразка. Выла все протяжней. Все отчаянней. Так что сердце рвалось из груди и все никак не могло разорваться. И чтобы не рехнуться от ее криков, он опрометью бросился в пургу. Там, на темном больничном крыльце под яичной болтушкой заиндевевшего фонаря, ветер толкался в дверь, швырял ледяным крошевом, валил с ног. И выл, выл, словно пурга обрела теперь голос Евразки.

Фельдшер Соломатин вышел в пургу через час. В халате, забрызганном кровью и слизью, со взглядом угасшим.

– Сын у тебя, – бросил сухо, не глядя в глаза.

И вновь скрылся за дверью. По этому угасшему взгляду, по краткости его слов Кит сразу понял, что жены больше нет. Что они не спасли Евражку. Ввалился – заснеженный, мерзлый – в жужжащий сломанным дросселем коридор, где слышался теперь из приоткрытой двери еще и жалобный писк человеческого детеныша. Его, сморщенного, бордового, уже укутанного в пеленку, держала на руках чукчанка. В раскосых глазах на плоском лице стояли слезы. Евражка лежала на столе, укрытая больничной простыней с черным казенным штампом по краю. Рыжий волос ее – влажен и тускл. Глаза прикрыты не плотно. Совно подсматривают. Губы, что он любил целовать, потрескались до глубоких трещин, закусаны в кровь. Кит встал перед ней на колени и коснулся своими губами лба. Тот был еще теплым тем последним теплом, что стремительно ускользает из человека вместе с исходом его души. Кит чувствовал этот Исход. Совно все их малые радости, среди которых и тепло «шанхайской» печи, и аметистовый взгляд жены, и тягучая лазурь летней стратосферы, дыхание белого медведя, фонтаны над океаном, сплелись в тугой и скользкий клубок, что кружится нутрянной какой-то пургой, рвется наружу вместе со слезами, с протяжным горловым стоном.

От мужского стопа вдруг затих новорожденный Китеныш, остановились часы на стене, притихла пурга. Простое и великое человеческое горе, какое случается на необъятной нашей земле всякое мгновение, а оттого в обыденной жизни – совсем незаметно, неслышно, когда касается тебя самого, вдруг застит собой Вселенную, лишает смысла всю дальнейшую жизнь, но так же незаметно и не слышно для остального мира. Здесь, на краю земли, горе утраты и вовсе затерялось от людских сердец. Может, только фельдшер, все мысли которого уже где-то там, в цветущем каштанами Киеве, да чукчанка с плоским лицом, да бессловесно-багровый младенец скорбели нынче вместе с этим мужчиной в овчинном тулупе, с которого капал, стекал слезами тающий лед. Да, может еще, казалось теперь этому мужчине, скорбела Джулька, что рвется на цепи, воем воеет на весь «шанхай». Стадо диких оленей. Белый медведь. Серый кит в глубине. Притихшая в скорби пурга. Само полярное небо, в котором – ни звездочки, ни всполохов северного сияния, но непроглядная и густая мгла.

Поначалу он думал забрать Евражку и ребенка в «шанхай». Да чукчанка Валя посулилась обмыть покойницу до утра, накормить младенца молоком,

что оставалось еще в больнице. Остаток ночи они провели вместе. Китеныш спал в гнезде из пеленок в веселом пластиковом тазу. Отец смотрел на его сморщенное багровое личико с шелушащимися остатками кожи, и сердце его наполнилось тревогой за этого человека, которому и от роду то всего несколько часов, но вот, поди ж ты, чмокает губешками, щурится сомкнутыми глазенками, не зная того, что самой жизнью своей обязан той самой женщине, в чьей утробе он жил, но лица которой никогда не вспомнит. Голоса не услышит. И любви ее никогда не узнает. Тревога за сына обретала теперь совершенно ясные очертания. Китеныша нужно кормить. Одеть-обуть. Лечить, если вдруг захворает. Обучать словам, а потом и какому-то делу. В мыслях и мечтах этих заполонных прикорнул он всего-то на час какого-то лихорадочного, болезненного сна прямо так: прислонясь к стене на стуле из дешевого дерматина, чтобы пробудиться вновь от крика младенца. Тут и утро пришло.

Спозаранку, вездехода даже не отогревая, – в поселковый магазин бегом. Тут, по счастью, еще осталось не распроданным по причине отсутствия всяческих младенцев сублимированное питание, хоть и малость просроченное. Выгреб все без остатка, все двенадцать упаковок.

– Куда вы с ними? – спросила чукчанка Валя, когда Кит загрузил в вездеход коробки и распалил газовую горелку, чтобы прогреть кардан.

– Домой, – ответил тот, регулируя винтом пламя, – ее я сам похороню, а парня как-нибудь подниму. Управляюсь.

– Я их собрала, – сказала Валя, – вы уж простите... Что нашла. И молока четыре литра. Больше нет. Последнее. Вряд ли кто еще здесь родится. В раскосых ее глазах вновь стояли слезы.

– Возьми, – сказал Кит и протянул ей последний блок сигарет с верблюдом – последний из тех, что оставался в поселковой лавке. – Ты и так с нами всю ночь возилась.

Вначале он вынес сына. Прямо в веселеньком, цвета весеннего неба пластиковом тазу, укрытом оленьим мехом. И оставил таз на пассажирском кресле рядом с собой. Потом вернулся за Евражкой. Чукчанка, как и обещала, омыла ее лицо. Обрядила в ту же самую кухлянку с воротником из шкуры огневки, в которой забирал ее нынешней ночью из дома. В стоптанные ее торбаса. В малахай из камуса на голове. Евражка окоченела. Он вынес ее на руках. Бережно опустил на дно кузова, куда постелил прежде того стеганое атласное одеяло. Но малахай все равно соскользнул с ее головы. Рыжие

волосы рассыпались по алому атласу, разрывая заново сердце.

Осиротевший «шанхай» встретил их воем оголодавшей, испуганной Джульки. Следы бродячих псов на снегу. Мертвечиной брошенных домов.

Печная тяга распалила уголек скоро. Упругим жаром исполнилась труба, источая вокруг себя живительную отраду. Младенец все еще кротко спал, когда Кит прямо в тазу принес его в натопленную комнату. Бережно, словно хрустального, перенес на кровать, все еще хранившую влагу отошедших вод его матери, складки от ее тела, рыжий волос ее на подушке. Рассупонил, удивляясь крошечности этого создания. Дивясь таинству бытия, что на тридцать пятом году его жизни соединило воедино его прошлое и будущее. Жизнь и смерть в самом первобытном и естественном их смысле.

Покуда сын спал, накормил оголодавшую псину, что уж изгрызла дверной косяк, исцарапала когтями половицы. А насытившись жадно и скоро, все норовила пробраться в комнату, чтобы обнюхать, зализать маленького человека, чей молочный, сладкий запах разливался повсюду кисельным маревом. Да Кит привязал ее накрепко поводком к стальной скобе, вколоченной в косяк сеней.

Теперь он думал о Евражке. Он не мог оставить ее в холодных сенях рядом с собакой. И в натопленной комнате с сыном не мог, ясно осознавая, что рядом с сыном она начнет разлагаться. Рядом с собакой – вселять ужас, после которого собака вряд ли когда оправится. Она и так беспокойно вздрагивала. Тянула влажной шишкой носа морозный воздух, скулила потерянно, не понимая, откуда в их округе этот стойкий, сравнимый с фиалковым запах мертвого тела. Так и оставил Евражку в кузове вездехода. Только укрыл пуховым оренбургским платком, в который та при жизни наряжаться любила. Но и сквозь ажурную вязь проступала фарфоровая бледность.

Младенец оказался на удивление тихим. За сутки проснулся всего-то два раза, чтобы, старательно и блаженно смежив глазки, сосать теплое молоко из бутылочки да разок запачкать пеленки, которые Кит скорехонько отварил в кипятке, простирал да утюжком прогладил. Даже сыновьи какашки пахли сладко.

Вечером он наконец допустил Джульку к сыну. Та сторожко, с некоторым даже страхом, подступилась к младенцу. Обнюхала голую пяточку, выпростанную из-под простыни, в чем запахе перемешался запах хозяина, подевавшейся куда-то хозяйки, да еще какой-то новый, тот самый сладкий запах новой жизни. Запах, который она по молодости лет еще хоть

и сама не знала, но которому безропотно подчинялась, как подчиняется любой зверь или человек зову нутряной своей природы. Обнюхав тщательно пяточки Китеныша, попыталась покорно назад к ногам его отца. Села рядом, поскуливая. Взглядывая тому в глаза, словно пыталась сказать: «Вырастим. Не горюй!»

Тризну свершал в одиночестве. Спирт, разбавленный. Жирный пласт юкеры в вошеной бумаге. Полбуханки ржаного хлеба, что производили еще покуда старатели на крохотной пекарне в «Полярном». Опрокидывал стопку за стопкой на помин Евражкиной души, торопливо унимая сердечную боль, что лишь саднила крепче, душила, наваливалась на него злой медвежьей тяжестью. Так и рухнул в пучину дурного сна.

Плачь младенца, скулеж собаки растолкали его уже под утро, призывая, невзирая на тяжесть похмелья, греть бутылочку молока, принимать сына на руки, кормить его да вновь пеленки менять. «Ничего, сынок, – калялся Кит младенцу, – ты не смотри, что я пьяный. Я – не часто. День такой выдался. Прости. Вот накормлю тебя сейчас. И спи, сколь влезет. И ничего не бойся, сынок. Я рядом. Я с тобой». Тот и уснул, вновь почувяв себя в тепле да сытости.

Ночная пурга унялась. Небо очистилось до обидиановой черноты, расчерченной лишь несколькими легкими всполохами изумрудного сияния, словно Создатель нынче не спешит, лишь пробует на угольной холстине мироздания новый свой замысел. Бродячие вновь топтались круг дома. Кит заметил их следы, после того как склонился над сугробом и бросил в лицо пригоршню жгучего крошева. Теперь они приблизились к вездеходу, почувяв в нем мертвую плоть Евражки. Кит отворил аппарателю машины, и всполохи полярной ночи осветили лицо жены. Окостеневшее. Промороженное насквозь. Покрытое легкой изморозью, малахитовой патиной.

Нужно было ее хоронить.

Сделать это полярной зимой не то что тяжело, немислимо! Даже летом вгрызаешься в вечную мерзлоту когда заступом, а когда и динамитом. Да и с их помощью отвоевываешь каждый сантиметр сплавленной в монолит породы, едва-едва. Искры летят из-под заступа. Гнется сталь. Но и после, когда неглубокая ямина от мерзлоты наконец отвоевана, домовина с покойником опустилась на дно, приспособился белый человек заливать ее бетоном. Покоритель Севера для извечных, жадных на прокорм ее обитателей – воронов, песка, но пуше иных медведя, – испокон веков всего лишь пища. Роют, мародерствуют на человеческих погостах почем

зря, вновь и вновь внушая покорителям простую, но все ж столетиями не усвоенную истину: нет, не ты тут хозяин! Не зря же тутошние народы, почитающие себя за настоящих людей-лауроветланов, покойников своих земле и вовсе не предавали. Свозили на сопки в белых одеждах. Да оставляли на прокорм дикому зверю.

Но Кит не был лауроветланом, хоть и прожил с ними всю свою не слишком долгую жизнь. Не мог даже представить себе посмертные терзания любимого тела. Да и динамита, чтобы взрывать землю на поселковом погосте, где под бетонным спудом и фанерными пирамидками со звездой упокоилось чуть больше десятка старателей, их жен и детей, теперь не сыскать.

Чуть больше трех часов понадобилось ему, чтоб собрать небогатый свой скарб. Карабин «сайга» с годовым запасом патронов. Документы в кожаной гэдээровской папке. Выходной костюм, совсем еще новый, потому как надевал его на свадьбу да на Новый год всего-то два разочка. Штилеты к нему. Лаковые. Потешные. Коротковолновый приемник, доносящий новости и сладкую музыку со всего света. Рыбачьи снасти. Японские бродни. Несколько фотокарточек в почтовом конверте, с которых улыбалась ему вечно покойная родня и беспечная, еще не подозревающая о том, что однажды останется только на этих фотокарточках, Евражка. Жаль, не осталось ее слов. Ведь она никогда не писала ему писем. Да и к чему их писать, если всю жизнь – рядом? Особняком – нехитрое младенческое приданое, что уместилось в коробке из-под леденцов «чупа-чупс». Ящик свиной тушенки с армейских складов. Ящик макарон. Само собой, бензиновый примус «шмель» на случай затяжного, на несколько дней, ненастья. Китайский термос с лотосами на обшарпанном боку. Темную икону Богородицы «Неувядаемый Цвет», сквозь патину которой пышно цвели ландыши, пионы и розы. Этой иконе в радости и горестях молилась тайком от него Евражка. Ту, с кем была она так близка, он не мог оставить теперь в одиночестве.

Дом еще дышал человеческой жизнью, покуда он застилал в последний раз их брачное ложе. Бережно зачем-то складывал чашки в буфет. Кряхтел горлом. Носом шмыгал, отворяя платяной шкаф, где висели на плечиках деревянных как ни в чем не бывало летние платья жены – тоже в ярких цветах. Веселые босоножки. Надушенное лавандовым мылом бельишко. Да так и закрыл навечно, даже не прикоснувшись. Водой из чайника с отбитой по дну эмалью залил печь. Та вскипела отчаянно, обдавая хозяина

белесым, с угольной пригарью, паром. Выдохнула в раскаленный дымоход последним своим вздохом. Шипела едва слышно на последнем излете. Пахла сырой падалью. Печной мертвечиной. Так и угасла.

Половицы скрипели вдруг тоже отчаянно, звонко, почуяв, видать, грядущее расстояние, а следом – лишь свободу от человеческого стояния, за которой непременно последуют хлад нетопленого жилья, рухнувшая кровля, снег, стужа и гниль. Тесом сухим, что хранился до этой ли поры в сарае, заколачивал все четыре окна. Колотил обухом топора размашисто, загоня гвоздочки по самую шляпку с первого же удара. Но, казалось ему, рубит всем острием. Рубит и рубит. Кромсая в куски осиротевшее свое сердце. И только мысль о сыне, который все это время блаженно спал в остывающем, слепнущем доме, не позволяла ему разом отсечь эту боль.

Спящим он поднял его с постели. Вновь уложил в пластиковый таз. Укрыл шкурой. Водрузил осторожно на пассажирское кресло рядом. Но даже рокот работающего движка не пробудил Китеныша. Тот сладко чмокал губешками. Жмурился. И лишь порой недовольно кряхтел во сне. Освобожденная от постромков Джулька волчком вертелась под ногами, стараясь понять, куда несут младенца, зачем забивают досками окна, гасят печь. Зачем освобождают ее от ремней, дают нечаянную свободу. На радостях сначала она даже сиганула большим кругом на край «шанхая», но, почуяв пугающую пустоту покинутых домов да свежую поступь дикой собачьей стаи, в страхе бросилась к пердящему выхлопами вездеходу, возле которого топтался с канистрами, с поклажами и ящиками хозяин. Ей даже удалось краем глаза заглянуть в приоткрытую аппарель, где лежала теперь ее потерянная хозяйка. И ужаснуться. От Евражки вязко тянуло холодом.

Выходил второпях. Навсегда затворил входную дверь. Навесил замок. Запер. А ключ зашвырнул в нависающую на «шанхаем» тьму. Не оглядываясь назад, запрыгнул в вездеход. Кликнул собаку. Джулька сиганула следом, с опаской поглядывая то на мертвую хозяйку в кузове, то на чмокающего Китеныша рядом. То на хозяина. Вспыхнули фары дальнего света, освещая покинутый людьми «шанхай». Хрустнула раздатка. Взревели сто пятнадцать лошадей движка, увлекая мертвых и живых в жидкий морок полярной ночи.

На окраине прииска, где лишь занесенные снегом отработанные отвал да сиротливые ржавые колоды, бочки из-под саляры – извечными монументами минувшей золотой эпохи, еще и несколько пробитых «уральских» покрывшек. Кит остановил

вездеход поблизости. Да еще не меньше получаса кантовал их, тяжеленные, друг к дружке поближе, и даже, в насаде, закатил одну на другую да обрушил плашмя. Обметал рукавом снег. После покрышек под сотню килограмм каждая Евразка показалась ему словно пух – невесомая. Он вынес ее на руках под пронзительный вой собаки. Уложил на ржавый жестяной лист поверх покрышек. Ушел к вездеходу. И вновь вернулся с полной канистрой бензина.

Лицо Евразки от вездеходной печки немного оттаяло. Покрылось мелкой испариной. И на морозе вновь схватилось ледяными слезами. Кит растопил их губами на ее фарфоровом лбу. На смеженных веках. На сомкнутых гранитно губах. Кто вспомнит теперь эту девочку в баклажановых сапогах и китайском пуховике с черепахами? Кто воскресит ее аметистовый взгляд, рыжие волосы вразлет? Дыхание старого медведя за дикой скалой, вонь китовых фонтанов, изгиб девичьего тела под морским бушлатом – неужто все это сгинет сейчас из его и ее жизни, оставляя лишь тлеющие, выцветающие воспоминания, от которых через каких-нибудь десять лет не останется и следа? И даже плод чрева Евразки, воплощение ее крови и души, никогда не почувствует даже малую кроху материнской жизни. Ни саму мать. А еще через тысячу лет изотрутся из памяти человечества не то что имена людей и поселков, но стран, и лишь пытливый идиот археолог, наткнувшись на истлевшие останки нынешних покорителей мироздания, с досадой отшвырнет их носком кожаного ботинка. Прощай, любовь! Достояние двух сердец – безразлично этой вселенной. Вот она – покрывает их обоих в последний раз прозрачным своим покровом. Как покрывает теперь и других. Незнакомых. Отчаянно верящих в бессмертие любви.

Он плескал бензин на тело Евразки и мерзлые покрышки сперва прерывисто, затем щедро тугой, кисельной струей, наполняя морозную стерильность воздуха и вселенной глубинным нефтяным духом. Крутанул большим пальцем колесико американской зажигалки и поднес к блестящему асфальтово протектору. Колесо вспыхнула жарко, харкнуло огненно, оплавляя волос кухлянки.

Китеныш все еще спал. Рядом с ним, распластавшись в кузове, дремала блаженно и Джулька. Полярное утро вычерчивало по сумеречному холсту малиновые разводы. И фиолетовые тучи плыли по небу подобно стае серых китов. И снег – цвета неба. И небо – цвета снега. Кит пялился в небо, откуда оно не поплыло нескончаемой влагой, не растаял снег, перемешался с облаками и малиновыми разво-

дами в какую-то слякоть, что трясла его, захлестывала сердце и душу бесконечной, нездешней болью. Такой же бесконечной и соленой, как Ледовитый океан, что окоченел теперь в ста километрах отсюда.

Когда слезы иссякли, Кит вернулся к пепелищу и собрал в китайский термос с лотосами все, что осталось от его любви.

Теплый прах Евразки положил рядом с сыном. Теперь они снова вместе. Весь долгий путь к окоченелому океану.

Москва

17 июня – 5 июля 2020 года

